

Томá

В городах должны быть большие сады. Сады необходимы для того, чтобы жизнь молодого человека покачнулась, чтобы на непредвиденной развилке свернула на другую дорогу. Чтобы — пусть частично — реализовались его потенциальные возможности. И вот однажды февральским утром 1974 года один подросток зашел в Люксембургский сад. У него светлые волосы, он носит шерстяной шарф, и его зовут Томá. Тома Ле Галь.

Тома — хороший ученик. Ему ровно шестнадцать, он штудирует высшую математику, чтобы оправдать надежды матери и поступить в престижную высшую школу, лучше всего — в Политехническую. Но в то утро Тома, выйдя из дому и спустившись в метро — он живет в 18-м округе, у метро “Барбес”, — пропустил станцию, где находится его лицей, доехал по той же 4-й линии до “Сен-Мишель” и оттуда дошел по бульвару до Люксембургского сада. По аллее мимо статуй французских королей подошел к большому пруду и сел там на металлический стул. Он подготовил эту вылазку заранее. В сумке припасено много книг. На улице тепло.

Вечером он вернулся домой. Голодный — днем съел только багет и какое-то яблоко.

Пришел он в Люксембургский сад и на другой день и еще на следующий и стал приходиться каждый день. Теперь сад — его штаб-квартира. У него завелись друзья: Манон, его ровесница, блондинка со вздернутым носиком и веснушками, такая же, если еще не более неприкаянная, чем он сам, и Кадер, взрослый черный парень лет тридцати, гитарист, который концертирует в метро. Когда идет дождь, Тома прячется под крышу какого-нибудь киоска или греется в прокуренном кафе на улице Мальбранш, где он быстро сошелся с ребятами из выпускного класса лица Луи-ле-Гран. Болтает с ними о политике, литературе, яростно хает Пруста, Троцкого, Альтюссера и Барта, и ярость его пропорциональна незнанию источников. Когда много позднее он прочтет их произведения, то устыдится глупостей, которые тогда изрекал, и подивится, что такая наглость легко сходила ему с рук.

Наступил март, потом апрель. Тома написал заявление об уходе из лица. А родителям он, разумеется, врал. Это оказалось на удивление просто, даже весело, и он открыл в себе талант вруна. От него пахнет табаком? Это одноклассники психуют и много курят во время зачетов. Не хватает денег на обед? Теперь в столовой надо платить наличными, он, Тома, подозревает управляющего в злоупотреблениях. Нечаянно вернулся раньше времени? Была лабораторная по химии на окислительно-восстановительные реакции, и учитель — представляете? — обжегся. С тех пор как он бросил учебу, он стал рассказывать о ней куда больше, чем раньше.

Однажды вечером, уже в мае, Тома пришел домой и стал плести очередную сказку. Отец слушал молча,

не сводя с него глаз. Не выдержала мама. Они всё знают. Позвонили из лица: он не сдал одну книгу в библиотеку, хотя уже три месяца как отчислен. Ссора, крики, разрыв. Тома не будет поступать в высшую школу. Он уходит из дома, поселяется у друга. Перебивается случайными заработками — в ту пору их было нетрудно найти, — потихоньку занимается психологией, социологией, еще десять лет оставаясь подростком. Из этого состояния однажды майским утром его вышиб звонок из полиции. Пьетта, женщина, которую он любит и которая недавно выписалась из больницы, где лежала с депрессией, бросилась под поезд. Тома удаётся за три дня уладить все формальности, всё организовать и похоронить свою подругу. Вернувшись с похорон, он запирается дома на целую неделю. А потом выходит гладко выбритым, коротко постриженным — прощайте, длинные черные кудри. И снова берется за учебу. На тот момент, с которого начинается повествование, медная табличка, привинченная к двери дома 28 по улице Монж, недалеко от Люксембургского сада, свидетельствует о достигнутом результате:

Д-р ТОМА ЛЕ ГАЛЬ
психиатр, психоаналитик
*В прошлом интерн в парижских
психиатрических клиниках*

Табличка характеризует его как серьезного специалиста, что ж, сегодня Тома Ле Галь и в самом деле классный профессионал.

Трехкомнатная, прежде жилая квартира на пятом этаже, слева, служит ему для приема пациентов. Кухню,

просторную, с современным оборудованием, Тома сохранил. Иногда он обедает там весенним рулетом из китайской лавки. Спальня, по левую руку от входа, переделана в приемную: натертый пол, два глубоких кресла и низенький столик — все почти как в английском клубе; окно без штор выходит на улицу. Сеансы длятся тридцать минут, между ними часовые промежутки, так что пациенты не встречаются. В назначенное время Тома принимает в переделанном из двух комнат кабинете, там из окон было бы видно небо и платаны во дворе, если бы свет не приглушали жалюзи из экзотической древесины. Дверь обита черным бархатом, оливкового цвета кожаный диван так и манит расслабиться. Комнату благожелательно озирают африканские маски — так повернутые спинами к морю истуканы-моаи оберегают остров Пасхи. На стене за письменным столом в стиле Луи-Филиппа индустриальный пейзаж Стивена Лаури в серо-голубых тонах. На другой стене очень маленькая и очень темная картина Брама ван Вельде, написанная в годы дружбы с Матиссом. Эта картина — единственная тут по-настоящему ценная. Тома приобрел ее на аукционе Друо, пожалуй, за слишком большую цену — хотя разве может искусство быть слишком дорогим! — но затем и приобрел, чтобы и думать забыть еще что-либо покупать там.

Тома отлично понимает, что вся эта обстановка — карикатура на типичный кабинет психоаналитика. Еще спасибо, что он не заставил пациентов смотреть на догонскую статуэтку или конголезского идола с гвоздями. Но язык декора немаловажен, Тома им не пренебрегает.

Всю свободную стенку занимают книжные полки, где художественная литература и психоанализ стоят

бок о бок, соблюдая некое перемирие. Джойс рядом с Пьером Каном, Лейрис впритирку с Лаканом, книжка Кено, выступающая из ряда — хороший признак для книги, — вплотную к Делёзу. Тома было пятнадцать лет, когда умер Кено. “Неужели ты ду, тыдуду, тыдада, думаешь, что и пра, что и правда, ну да, молодость навсегда, да?”¹ Нет, Тома Ле Галь давно так не думает. Все больше морщин у него на лице, седины в волосах, они уже не так волнисты и густы, щеки слегка обрюзгли и обвисли, ему уже не сорок лет, пятый десяток на исходе, а впереди — хорошего не жди, все только хуже.

Полукруглые каминные часы показывают девять. Тома отключил у них бой, чтобы во время сеансов самому следить за временем. Он сидит в кресле и ждет. Читает позавчерашний “Монд”, перекладывает какие-то бумажки. Первый пациент запаздывает. Анна Штейн всегда запаздывает. Иногда на минуту-другую, иногда на десять минут, а то и на целую четверть часа и всегда по уважительной причине: то задержалась няня, то парижские пробки, то негде припарковаться. Тома предлагал ей другое время, она отказалась. Похоже, ей нравится заставлять себя ждать.

Анна Штейн. Терапия длится двенадцать лет и уже близится к концу. В первые годы она, как все другие, только рассказывала. Развернула весь свиток своей жизни, выложила всё, пока не исчерпала закрома памяти, не подобрала последние крошки воспоминаний и не почувствовала себя буквально опустошенной, выжатой до капли, похожей на пересохшую реку. Потом еще целый год с лишним мельница крутилась вхол-

1 Строчки из стихотворения Реймона Кено “Неужели ты думаешь” (*Si tu t’imagines*). (Здесь и далее, кроме особо отмеченного случая, — прим. перев.)

стую. И только когда наконец она признала себя побежденной и, разозлясь, огрызнулась: “Что вы хотите, чтоб я еще вам сказала?” — только тогда начала говорить спонтанно, бездумно, выговаривать, по выражению Фрейда, “все, что само приходит в голову”, не пытаясь развить какой-то сюжет, выстроить упорядоченное повествование. С тех пор Анна работает, находит связи, постигает смысл. Продвигается вперед.

Два дня назад, на последней минуте сеанса она вдруг невзначай сказала: “У меня была встреча. Я встретила одного человека. Мужчину, писателя”. Тома, не торопя события, скупой отметил всего несколько слов: “встретила одного человека” — интригующий плеоназм, — потом: “мужчину, писателя”. Обычно слева он записывал голую информацию, а справа — то, что извлекал из словесной игры и что подлежало формализации. “Меня словно молнией поразило”, — прибавила Анна. Тома показалась любопытной эта электрическая, раскрепощающая метафора.

Потом он нарисовал карандашом пунктирную линию, на одном ее конце написал букву X (икс), на другом — А (Анна). И, изменив логическую перспективу, заключил их в овал, объединил в булево кольцо. Расспрашивать Анну он не стал — стрелка часов с вестминстерским боем уже на несколько минут зашла за половину часа. Только сказал:

— До четверга.

Анна

Анне Штейн почти сорок. Выглядит она лет на десять моложе, притом что в среде обеспеченных людей, где она вращается, считается нормой выглядеть моложе на пять. Но близость и неизбежность символической цифры ужасает ее. Она-то все еще ощущает себя в сияющем шлейфе кометы юности. И вдруг — сорок лет... Ей представляется, что есть некие ДО и ПОСЛЕ, как в рекламах омолаживающих лосьонов, и она заранее оплакивает то, что уже прошло, и страшится того, что должно наступить.

Детское воспоминание: Анне семь лет, у нее есть сестра и два брата, младший только учится говорить, а она — самая старшая из всех. Нелегко быть самой старшей, если кого ругают, то всегда ее, потому что другие еще слишком малы. Но Анна, такая милая девочка, сумела остаться маминой любимицей. Вот она усадила перед собой рядком сестру и братьев. Из окна льется золотистый предвечерний свет, скорее всего это воскресенье, и они где-то за городом. Анна стоит с раскрытой книгой в руках, читает вслух. История ей кажется слишком уж простенькой, она придает ей

остроты, уснащая драконами, феями, принцами и людоедами, так что в конце концов сама в них запутывается. Младшие заворуженно, с восторгом и ужасом слушают вдохновенное чтение старшей сестры. А та размахивает руками, иногда подпрыгивает на месте, изображает жестах происходящее, стараясь читать так, чтобы держать в напряжении юных слушателей. Она твердо уверена, что станет актрисой, танцовщицей или певицей.

Анне пятнадцать лет, она собирает черные волосы в хвост, подчеркивая линию затылка. С удовольствием осваивается в новом, женском теле: носит платья в обтяжку с леопардовым принтом, туфли на высоких каблуках, вызывающие бюстгалтеры. Она мечтает стать звездой, блистать в свете софитов, ее приводят в трепет названия городов: Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, Шанхай. Она поет на сцене с собственной рок-группой. *Anna and her three lovers* — так она ее окрестила. Да так и есть: все трое — гитара, ударник и басист — в нее влюблены. Все трое — безнадежно, только один с намеком на взаимность, да и то...

Вот Анне двадцать лет, она студентка-медичка, на ней прекрасно смотрится белый халат. Он выбран точно по размеру, изящество предпочтено удобству, носит она его полурасстегнутым, и раз кроме него видны лишь туфли, они подобраны с особым тщанием. Нередко даже неоновых оттенков. Переходя с курса на курс, она превращается в доктора Штейн. Начитанная, умная, с блеском сдает все экзамены, слишком гордая, чтобы позволить себе провалиться. Но еще недостаточно, чтобы сознательно пренебрегать учебой. Богемная жизнь без правил осталась позади, теперь она знает, что никогда не будет плясать в кабаре, несмотря

на красивую грудь и длинющие ноги. Мать Анны — терапевт, она сама становится психиатром, замуж выходит за хирурга, тоже еврея, у них рождаются двое детей: Карл и Леа. “Еврейская лавочка”, — шутит она. Но от двадцатилетней бунтарки в ней остается дерзкая походка и ослепительная улыбка. Намек на то, что в глубине души она не окончательно рассталась с мечтой о карьере на подиуме.

Да, Анна стала доктором Штейн. Но кажется, сама не очень в это верит.

Однажды она позвонила в свою больницу, чтобы поговорить с коллегой, и уверенным голосом произнесла:

— Добрый день, соедините, пожалуйста, с доктором Штейн!

Тут же, оторопев, конечно, повесила трубку, надеясь, что секретарша не узнала ее голос. И только через час решила перезвонить.